



Н. В. Валентинов

**НАСЛЕДНИКИ  
ЛЕНИНА**

91-3  
86012

**Н. В. Валентинов**

# **НАСЛЕДНИКИ ЛЕНИНА**

Редактор-составитель Ю. Г. Фельштинский



«ТЕПРА» – «TERRA»  
МОСКВА 1991

Репринтное воспроизведение издания,  
выпущенного американским издательством  
Chalidze Publications

Валентинов Н. В.

B15      Наследники Ленина / Ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. —  
М.: Терра, 1991. — 240 с.

В сборник Н. Валентинова — революционера-меньшевика, историка и философа, эмигрировавшего в 1928 г. во Францию, вошли несколько статей, объединенных общей темой: кризис в партии после смерти Ленина. Несмотря на спорность некоторых выводов автора, в ряде случаев вызванных и его незнанием документов, введенных в научный оборот в более поздние годы, высокая информативность, живой стиль, неординарность подачи материала делают книгу интересной для самого разного читателя.

При репринтном воспроизведении сохраняются орфографические и полиграфические погрешности американского издания.

ББК 66.61 (2) 271.3

Н. В. Валентинов  
НАСЛЕДНИКИ ЛЕНИНА

Художественный редактор А. Я. Гладышев  
Технический редактор И. В. Шмелева

Подписано в печать 30.05.91. Формат 84 X 108<sup>1/32</sup>. Бумага офсетная книжно-журнальная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,02. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2040. Цена 5 руб.

Ассоциация совместных предприятий  
международных объединений и организаций.

Издательский центр „ТЕРРА“ при участии Политиздата.  
Москва, А-73, Автозаводская ул., 10.

Ордена Ленина типография „Красный пролетарий“.  
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

© О. А. Карелина, оформление 1991

1 1268

91-42414

## Приложение 3

### Беседы с Плехановым в августе 1917 г.

Сугубо конфиденциально. (Опубликованию не подлежит).

В качестве одной из "икон" революции Плеханов получил особое приглашение для участия в Государственном совещании в августе 1917 г. в Москве. Однако, когда он с Р. М. Плехановой приехал из Петербурга, его никто не встретил и не позаботился обеспечить для него приют. В книге "Встречи с Лениным" я писал, что, узнав об этом, я предложил ему жить во время Государственного совещания у нас. Розалия Марковна, как человек практичный, решила сначала посмотреть, подходит ли Плеханову наше жилище: вдруг это какое-нибудь логовище или неподходящая для Георгия Валентиновича "меблировка". Придя к нам, она увидела, что им у нас будет жить очень удобно. Мы имели в это время действительно превосходную, хорошо обставленную квартиру, так как в годы до войны и я, и жена (артистка в оперетте) зарабатывали очень много (стыдно даже сказать — Сытин платил мне 2000 рублей в месяц!). Квартира наша состояла из пяти комнат, из них три на улицу: гостиная (т. н. синяя комната), столовая, комната жены. Синяя комната была хорошо известна нашим знакомым — в ней приходилось жить и Л. О. Дан, и С. Н. Прокоповичу, и полковнику Рябцову, командующему войсками против большевиков в окт. 1917 г., и многим другим. На другой стороне квартиры, отделенной коридором и выходящей окнами на двор — моя спальня и большая комната с моей библиотекой. Внизу ван-

ная, кухня, комната для прислуги. Когда к нам приехали Плехановы, жена преребралась в мою комнату, я в библиотеку, всю остальную часть квартиры — т. с. три комнаты — мы отдали в полное распоряжение Плехановых, получивших, таким образом, помещение, на которое они не рассчитывали. На это обстоятельство обращаю внимание потому, что благодаря ему Плехановы смогли принимать множество их навещавших людей и, например, *три раза* устраивать собрания московской группы "Единства" — куда приходило до 30 человек. Для них из всех комнат собирались стулья. Для свидания с Плехановым приезжали в Москву какие-то его родственники, в их числе, кажется, один из его братьев. О последних, хотя это было для меня интересно, я остерегался спрашивать Плеханова, чтобы не напомнить ему о склоке, учиненной мною в Женеве в связи с его братом — бывшим в Моршанске исправником (об этом я писал во "Встречах с Лениным"). Плеханов, в первые же дни, когда стал жить у нас, захотел узнать, какую политическую позицию я занимаю.

— "Нос" в повести Гоголя ходил по Невскому, ни к кому не прислоняясь. Такое положение мне кажется довольно неестественным и неудобным, а между тем мне сказали, что вы заняли именно положение гоголевского Носа, ни в тех, ни в этих, а сами по себе. Что вас отделяет от меньшевиков? На этот, казалось бы, естественный и простой вопрос я Плеханову не мог ответить со всеми нужными для этого объяснениями. Вот по какой причине. Месяца полтора до этого я был вызван в секретариат московской группы меньшевиков и подвергся "допросу" со стороны Анны Адольфовны Дубровинской (жены покойного ультра-ленинца Иннокентия) и ее помощницы Розенберг (не нужно смешивать эту глупенькую девицу с ее сестрой — умной Кларой Борисовной, "Madame Roland", как я ее называл, салон которой в 1905-1906 гг. служил местом встреч людей подполья с писателями, артистами, общественными деятелями всех направлений). Эти две особы, позднее перекочевавшие в большевистский лагерь, меня обвинили в том, что:

1. В статьях и речах я "сею недоверие к революции".
2. Настаиваю на необходимости какой-то отзывающейся реакцией "твёрдой власти".

3. Держу о сепаратном мире странные речи, "не имеющие общего с циммервальд-канталовскими установками".

Не буду говорить о моем споре с Дубровинской, скажу только, что я выругался и заявил, что после этого разговора никаких отношений с меньшевиками иметь больше не желаю. Обо всем этом я не мог откровенно сказать Плеханову. Во-первых, потому, что говоря о ком-то (забыл, о ком), Плеханов категорически заявил, что всякое недоверие к революции есть свидетельство о контрреволюционном, т. е. недопустимом настроении человека, это недоверие высказывающего. (Плеханов, однако, забывал, что именно в брюзжании на революцию его обвиняли меньшевики.) Спорить по этому поводу с Плехановым я не хотел и считал бесполезным. Во-вторых, я действительно стоял с конца 1916 г. за сепаратный мир, но об этом Плеханову говорить не мог. Самая мысль о сепаратном мире его приводила в крайнее раздражение. Сепаратный мир он называл "гнуснейшей низостью". Я предпочитал об этом молчать. Зачем моему гостю делать неприятности, давать ему понять, что он живет у человека, способного одобрить "гнуснейшие низости"? Принуждаемый по указанным мотивам к умолчанию, я, разумеется, не мог рассказать Плеханову все детали моего спора с Дубровинской и Розенберг. Сказал что-то туманное, из которого Плеханов заключил, что меня от меньшевиков больше всего отделяет вопрос о "твердой власти".

"Но если так, — воскликнул Плеханов, — вам нужно не следовать гоголевскому Носу и вступить в нашу группу "Единство". Необходимость твердой революционной власти, способной действовать, а не болтать, составляет один из основных пунктов ее платформы".

Считая, что меня от "Единства" мало что отделяет, Плеханов, когда должна была притти к нему в первый раз московская группа "Единства", позвал меня на это собрание. "Будьте не гостем, а равноправным членом нашего совещания". Я все-таки счел нужным от присутствия на этом совещании уклониться и в этот день вечером из дома ушел. На следующий день это дало повод для большого разговора с Плехановым.

— Сначала, когда все собирались, а вы, несмотря на мое приглашение, не пришли, — я несколько удивился: по-

чему вы бойкотируете? а потом, посидев часа три с товарищами из "Единства", присмотревшись к ним и послушав их, скажу откровенно — вы ничего не потеряли, не прия на собрание. Московские "единцы" люди превосходные, только узки и серы. Сравнивая их с составом наших социал-демократов, с которыми обычно приходилось иметь дело в Женеве, в эмиграции, нахожу, что московские "единцы" калибром много меньше. Несмотря на это, они все-таки занимают ту политическую позицию, какую должен иметь в нынешних условиях настоящий марксист, человек, усвоивший взгляды научного социализма. Вот этим они отличаются от меньшевиков, идущих за Даном, Мартовым, Чхеидзе, Церетели. Позиция меньшевиков — вредная. Они не желают видеть, что Россия гибнет, а "единцы" это видят, понимают, чувствуют. Это уже делает их на голову выше меньшевиков. По отношению к меньшевикам я оказался в печальном положении, которого право, не заслужил — вроде курицы, которая вывела утят, поплавших от нее по болоту. Меньшевики от меня отшатнулись в первую революцию, а теперь вторично меня предают. Сейчас есть только две возможные позиции — одна, которую защищаю я, а за мною товарищи из "Единства", а другая — ее занимает Ленин. Моя теоретическая позиция ясна даже для очень близоруких людей, и я не схожу с нее около 40 лет. Теоретическая позиция Ленина тоже ясна — это словесный марксизм в сочетании с бланкизмом, ткачевщиной, бакунизмом. Никакой третьей промежуточной позиции нет, а меньшевики на это пустое место встали и превратились в полуленинцев.

Говоря о меньшевиках, Плеханов с особой резкостью относился к Церетели. Он делал это с таким раздражением, что меня, хотя Церетели совсем не был моим героям, просто коробило. У меня даже мысль промелькнула — уж не зависит ли Плеханов славе Церетели, в то время притягивающего к себе внимание несомненно больше, чем Плеханов. После одной из резких фраз Плеханова по адресу Церетели я не выдержал и заметил:

— Георгий Валентинович, к Церетели вы очень несправедливы.

Это замечание прямо вздернуло Плеханова на дыбы.

— Обижать Церетели — не входит в мои задачи. Его называют талантливым выразителем взглядов нынешних меньшевиков, и я, делая уступку общественному мнению, тоже называю его талантливым деятелем. Пусть будет так. Престиж Церетели, как видите, внешне поддерживаю: это очень хорошо, когда нас, стариков, заменяют молодые товарищи. Но я все-таки не вижу, в чем талантливость Церетели. Достаточно ли он образован, чтобы в наше ответственное время играть роль, которую видимо он себе отводит. Я интересовался узнать — в чем и когда Церетели проявил свои теоретические познания — никто не мог на этот счет мне ничего указать. За всю жизнь он не написал, кажется, даже малюсенькой статьи. Никакой теоретической серьезной марксистской подготовки у него, повидимому, нет. Можно ли теперь без теоретического компаса плавать на российском океане? А Церетели плавает, и паруса его корабля раздувают только циммервальд-кантальский ветер и большие аплодисменты, которыми его награждает невзыскательная аудитория. На Государственном совещании мы видели эффектную сцену: выразитель торгово-промышленных кругов Бубликов под гром аплодисментов пожимал руку Церетели — выразителю взглядов меньшевиков. С Бубликовым я после этого говорил — он ясно отдавал себе отчет в смысле и значении этой политической сцены. Но понимал ли ее Церетели — в том я имею все основания сомневаться. Продуманности у Церетели нет. Есть только кавказская декламация, а с нею одною нельзя понимать ход исторических событий и ни им управлять. Если из молодых общественных деятелей, выдвинувшихся в последнее время, взять, например, Савинкова и Церетели, то скажу вам — за одного Савинкова, понимающего, что Россия гибнет и что нужно для ее спасения — я десять Церетели отдам. Понимания того, что нужно делать, у него нет.

Будучи у нас, Плеханов написал три статьи — одну на тему "Россия гибнет", другую — о значении московского совещания и третью — о Церетели. У меня под руками нет сейчас ни одной из них, не помню и их названия, но хорошо помню, что в появившейся в "Единстве" статье о Церетели не было и сотой доли тех язвительных суждений, которыми Плеханов его осыпал. Особая злоба, с которой он о нем отзы-

вался, для меня по сей день непонятна. Не было ли в ней какого-то личного момента? Было бы полезно (для истории) спросить об этом Церетели.

Вечером в тот день, когда Керенский произнес речь о "цветах души" (см. об этом мою статью в Социалистическом Вестнике за октябрь 1953 года), Плеханов мне мрачно заявил, что никогда не мог предположить, что Керенский захочет поставить себя в такое смешное и жалкое положение.

— Кто такой Керенский? Ведь он не только русский министр, а глава власти, созданной революцией. Слезливый Ламартин был всегда мне противен, но Керенский даже не Ламартин, а Ламартинка, он не лицо мужского пола, а скорее женского пола. Его речь достойна какой-нибудь Сарры Бернар из Царевококшайска. Керенский — это девица, которая в первую брачную ночь так боится лишиться невинности, что истерически кричит: мама, не уходи, я боюсь с ним остаться.

Отзывы Плеханова о речи Керенского были столь злы, что я с некоторым испугом спросил: неужели он именно в этом тоне будет писать статью о Государственном совещании?

Плеханов пожал плечами:

— Разумеется, нет. Всего того, что я о Керенском думаю, я написать не могу. Пока нет другого правительства, забывать на смерть существующее — значило бы играть на руку Ленина, делать дело Ленина.

Однажды, это было скоро после его приезда к нам, я спросил Плеханова — сколько лет он не был в России и какие в ней изменения особенно бросились ему в глаза. Плеханов сказал, что он уехал из России в 1880 г. (кажется, так, хорошо не помню, какой год он указал), и, следовательно, не видел ее около 37 лет. С внешней стороны серьезно, но по существу со злой иронией Плеханов начал говорить о том, что его поразило.

— Видите ли, я до сих пор считал Россию в большинстве своем населенной русскими — славянами. Думал, что господствует в ней славянский тип, примерно "новгородского образца". Значит — люди высокого роста, по преимуществу долихоцефалы и блондинки. Что же я вижу во всех российских, петербургских и прочих советах рабочих, крестьянских

и солдатских депутатов? Множество людей черноволосых, большей частью брахицефалов, и говорят эти люди с каким-то акцентом и припыханием. Неужели, думал я, за эти годы, что не был в России, антропология ее населения так сильно изменилась? За все время, что приехал сюда, увидел, кажется, только двух истых представителей новгородского типа — это Авксентьев и Стеклов, но после проверки оказалось, что тов. Стеклов к новгородцам не принадлежит.

Розалия Марковна Плеханова, присутствовавшая при этом разговоре, заметила:

— Ты так говоришь, что Валентинов может подумать, что ты стал националистом и не терпишь тех, кого называют инородцами.

— Зачем ты нашему хозяину, возразил Плеханов, приписываешь отсутствие понимания иронии? А все-таки, если говорить серьезно, должен сказать, что меня не только поразило, а даже шокировало слишком уж обильное представительство русских представителями других народностей, населяющих Россию, как бы почтены они ни были. В этом видна незрелость русского народа.

Несколько раз в разговорах с Плехановым заходила речь о времени после первой революции до войны. Я указывал Плеханову, что в этот период, особенно с 1908 г., происходило огромное хозяйственное оживление в области индустрии, сельского хозяйства, жилищного строительства, городского хозяйства. Земля разными способами переходила в руки крестьян, и, настаивал я, на столыпинские законы нельзя смотреть только как на сплошь реакционную политику. Характеризуя 1908-1914 годы, я рассказал Плеханову, что в это время мне удалось побывать во множестве городов, в некоторых селах, очень многое видеть, и я пришел к убеждению, что всюду, за исключением какой-нибудь Суздали, не было видно застоя, наоборот, огромное стремление к культуре, к усвоению того, что я называл "европеизмом".

— По-моему, не следует особенно увлекаться тем, что вы видели. Это все точки на теле слона. Европеизма, увы, в России мало. Это не Европа, не европеизм, а, как говорил Тургенев, "первое лепетанье спросонья". То, что вы рассказываете, находится в разногласии с тем, что об этих годах писали газеты и журналы. Очень хотел бы, что-

бы вы были правы, но помоги, Господи, устраниТЬ мое не-верие.

Слова Плеханова, несомненно, находятся в тесной связи с его мыслью о политической и культурной незрелости, отсталости русского народа, вывести из которой, по его глубокому убеждению, могло при политической свободе только дальнейшее мощное развитие капитализма. О возможности, по Ленину, перехода, "скакча России в социализм" Плеханов говорил с презрением.

— Нам после десятилетий пропаганды, просвещения голов научным социализмом, марксизмом предлагают вернуться к ткачевско-бакунинской темной, невежественной демагогии. Почему тогда не заменить электричество лучиной, а паровой локомотив — конной тягой? Почти сорок лет тому назад я написал "Наши разногласия" и "Социализм и политическая борьба". Прошу указать, где, кто, когда опроверг выводы из этих книг .

Об "Апрельских тезисах" Ленина и о том, что тот писал позднее, Плеханов говорил как о "бреде". Он неоднократно повторял это слово. "Бред, только бакунинский бред, способный находить отклик лишь в очень невежественной среде". Плеханов много рассказывал о своем первом знакомстве с Лениным, когда тот в 1895 г. приехал в Женеву.

— Аксельрод, бывший на седьмом небе оттого, что довелось видеть человека оттуда и находящегося в самом центре рабочего движения Петербурга, меня усиленно убеждал, что за Ульяновым-Тулиным нужно ухаживать, так как он самый видный представитель работающих в России социал-демократов, а их тогда можно было пересчитать по пальцам двух рук. И мы за Ульяновым действительно ухаживали, носились с Ульяновым как дураки с писаной торбой. Однако к сей почтенной категории людей я не принадлежу, и потому сразу разглядел, что наш 25-летний парень Ульянов — материал совсем сырой и топором марксизма отесан очень грубо. Его отесывал даже не плотничий топор, а топор дровосека. Ведь этот 25-летний парень (Плеханов несколько раз повторил "этот парень") был очень недалек от убеждения, что если некий Колупаев-Разуваев построил в какой-нибудь губернии хлопчато-бумажную фабрику или чугунно-плавильный завод, то дело в шляпе: страна уже охвачена капитализмом и

на этой базе существует соответствующая капитализму политическая и культурная надстройка. Мысль Тулина вращалась именно в подобных примитивных рамках, а разве это марксизм? [...]

Я спросил Плеханова, как он относится к обвинению Ленина в получении денег от немцев (обвинение, брошенное Алексинским и Панкратовым) и к приказу Временного правительства об аресте Ленина.

— Получал ли Ленин деньги от немцев? На этот счет ничего определенного не могу сказать. Установить это — дело разведки, следствия, суда. Могу только сказать, что Ленин менее чистоплотен, чем, например, Бланки или Бакунин, заместившие в его голове Маркса. Арестовать Ленина после июльских дней, конечно, было необходимо. Революция дала стране полную свободу слова. Ленин, вместо того чтобы добиваться своих, на мой взгляд, бредовых идей только словом, хотел их проводить, опираясь на вооруженные банды. А когда оружие критики, как говорил Маркс, заменяется критикой оружием, тогда революционная власть на такую критику должна отвечать тоже оружием. Очень жалею, что наше мягкотелое правительство не сумело арестовать Ленина. Все говорят, что он скрывается где-то вблизи Петербурга и из своего убежища продолжает и писать, и давать приказы своей армии, иными словами, разлагать революцию и играть на руку немцам. Контрразведка Временного правительства так бездарна, что найти Ленина не может. Савинков мне сказал, что ловить Ленина не его дело, но если бы он этим занялся, то уж на третий день Ленин был бы уже отыскан и арестован.

Не могу не отметить следующий эпизод. Рассказывая Плеханову о периоде после первой революции и до начала войны, я ему указал, что в моих экскурсиях по России я в это время много раз встречался с большевиками, меньшевиками, эсерами, ушедшими из подполья, переставшими нести какую-либо партийную работу, но от этого совсем не сделавшимися "огарками", нулями, людьми, потерявшими всякое общественное значение и пользу. В этот момент я совершенно упустил из виду, что эти люди являются "ликвидаторами", бичуя которых, Плеханов в 1909-1911 гг. примкнул к Ленину и пустился защищать доблесть "подполья". Любоп-

пытно, что Плеханов, слушая меня, не делал абсолютно никаких возражений. Он упорно молчал, хотя вряд ли забыл, что еще совсем недавно по поводу ликвидаторов делал столь неприличные выпады против Потресова и что последний в одном из номеров "Нашей зари" (не помню точно когда), назвал его "жалким человеком, сеющим разврат". Кстати о Потресове. Однажды речь зашла о газете "День", и я выскажал удивление, что Потресов, не отлигавшийся писательской подвижностью, сверх всякого ожидания оказался превосходным "газетчиком", способным писать чуть ли не каждый день живую и острую статью. Плеханов несомненно был человеком злопамятным, и хотя во время войны позиция Потресова почти совпадала с Плехановской, мои комплименты по адресу Потресова ему явно не понравились. Скору с Потресовым он не забывал. Он пожал плечами и сказал, что ни особой остроты, ни тем более блеска в том, что пишет Потресов, он не видит. Следует сказать, что кроме Савинкова, Плеханов во время пребывания у нас ни о ком другом с похвалой или одобрением не отзывался. О Мартове или Дане он просто говорил: "Это бессознательные полуленинцы. Это печально, но это так".

Расскажу о некоторых фактах, связанных или имеющих отношение к пребыванию у нас Плеханова. Моя жена старалась как можно лучше его кормить, но в 1917 г. это становилось уже трудным. Например, хорошего масла достать было уже почти невозможно. Жена ухитрилась откуда-то из деревни получать сливки и из них сама сбивала масло. Для этого она применяла, конечно, самые примитивные методы: чтобы сбить масло в бутылке, нужно было эту бутылку долго качать, трясти, пока наверху не появятся комочки масла. Розалия Марковна и Плеханов один раз застали жену (сбиванием масла занимался и я, помогая жене) за этим занятием и были до крайности поражены. Они не предполагали, что для масла, которое они едят с утренним кофе, нужно столько физических усилий их "хозяев". Много лет потом, когда Розалия Марковна после второй войны жила во Франции, в Sceaux, у своей дочери, и мы изредка ее там посещали, она постоянно говорила, что не может забыть, как моя жена добывала им масло. Она рассказала, что у Плеханова по этому поводу вырвалось любопытное замечание:

— Чем больше Ленин и иже с ним будут вести свою пропаганду, тем больше будет экономически и технически разлагаться страна, тем больше мы будем возвращаться к экономике курной крестьянской избы.

Однажды, находясь в столовой, жена моя случайно увидела довольно любопытную сцену. В этот день вечером в театре на Большой Никитской улице Плеханов должен был читать лекцию. Если не считать речи на Государственном Совещании, это было его первое публичное выступление в Москве. Он готовился к нему не только в смысле содержания, но, если можно так выражаться, и с внешней стороны. Он надел жакет и тщательно репетировал все жесты, которые будут сопровождать его лекцию. Плеханов стоял перед большим зеркалом, и моя жена, случайно войдя в столовую, видела, как он то разводил руками, то подымал одну руку, то прихлопывал ногой и т.д. Словом, это был полный арсенал ораторской жестикуляции, обычно сопровождавшей речи Плеханова. Всю эту заранее отрепетированную жестикуляцию, всегда производившую на меня впечатление неестественности, вымученности, можно было видеть во время его речи в Никитском театре. Публики было много, появление Плеханова она встретила дружными аплодисментами, но речь Плеханова ее разочаровала. Она действительно была слабой, и актерское разведение рук публике, видимо, не нравилось. Обычно в речах Плеханова бывало несколько остроумных ударных мест. На сей раз для оживления речи он хотел воспользоваться следующим приемом:

— Говорят, что я, Плеханов, 40 лет и даже больше всегда сражавшийся за интересы пролетариата, этим интересам ныне изменил. Пауза. Говорят, что я теперь пишу то, что находится в противоречии с тем, что писал. Длинная пауза и снова повторение сказанного. Признаюсь, да, милостивые государыни и милостивые государи, я признаюсь, я должен признаться, что...

После такого введения — несколько раз повторяемого "признаюсь" аудитория должна была логически ожидать, что Плеханов "признается" в какой-то измене пролетариату. Неожиданно для публики Плеханов, меняя тон, вдруг бросил:

— Признаюсь, что я, Плеханов, никогда интересам пролетариата не изменял. Люди, утверждающие это, принадлежат к той категории, которую один наш русский писатель назвал от рождения "недоношенными".

Первый раз такой присем, бывший на неожиданность, вызвал гром аплодисментов, повторенный несколько раз, он уже потерял свой эффект и перестал действовать; несмотря на то что члены группы "Единство" в зале усердно хлопали в ладоши — большая часть публики за ними не шла. В качестве "почетных гостей" я и Вал. Николаевна сидели на эстраде, недалеко от Плеханова, рядом с Верой Ивановной Засулич. Поклонница до самой смерти "Жоржа" (Плеханова) видимо не хотела признать, что речь его не имеет успеха, к которому Плеханов привык в его выступлениях в Женеве и вообще в эмиграции.

— Не правда ли, — сказала она, обращаясь ко мне, — несмотря на годы, Плеханов все тот же?

Именно этого-то я не видел, и поэтому ответил уклончивой фразой. Засулич была этим огорчена.

— Вам не особенно нравится речь Плеханова, вы по отношению к нам, старикам, жестоки.

Говоря о Засулич, хочу описать следующее маленькое происшествие. Во время пребывания у нас Плеханова я его фотографировал во всех видах. Он охотно на это шел и принимал всякие "авантажные" позы. Засулич, приславшая из Петербурга в Москву на Государственное совещание и в это время часто приходившая к нам, решительно не позволила ее фотографировать. Мне очень хотелось иметь ее карточку, и я сказал:

— Вера Ивановна, становлюсь перед вами на колени и не встану, пока вы мне не дадите вас снять.

В то время, когда я на все лады ее упрашивал, подошел Плеханов.

— Вера Ивановна вам не позволяет ее сфотографировать? Ну, я вам объясню, почему. В молодости, например, когда Вера Ивановна стреляла в Трепова, она была очень красива. Нужно думать, что это счастливое обстоятельство сыграло какую-то роль и в ее оправдании на суде. В глазах потомства она желает остаться такой же красивой, как в то

время, когда за нею ухаживали Нечасев, Клеменц, а потом весьма многие иные. Поэтому фотографировать ее, когда она стала старой, она не позволяла.

Не знаю, какие отношения были у него и Засулич в то отдаленное время, когда она была очень красивой. Возможно, что говоря о "многих иных", Плеханов хотел намекнуть, что он был также в числе ее "ухаживателей". Знаю только, что Засулич вспыхнула и рассердилась:

— Вы чепуху несете! А чтобы доказать, что я не думаю о сохранении в памяти потомства того вида, какой я имела в 1877 г., я позволяю Валентинову с меня, седой и морщинистой старухи, сделать столько снимков, сколько он захочет.

После этого я и заснял Засулич. Вышла она на моих снимках чудесно. Жалею, что их теперь не имею. Ведь это действительно были снимки-уникумы. До этого времени она категорически отказывала всем желающим ее сфотографировать, а после этого без малейшего возражения позволила ее фотографировать и отдельно, и в группе, и вместе с Плехановым, когда через несколько дней мы все, по просьбе Плеханова, поехали на Воробьевы Горы (туда, где юный Герцен и Огарев давали свою клятву). О поездке на Воробьевы Горы с Плехановым и Засулич я говорил в статье в "Новом журнале" в 1948 г., повторяться поэтому не буду. Остановлюсь только вот на каком эпизоде.

Чтобы добраться от нашего дома до Воробьевых Гор, нужно было проехать через всю Москву. По просьбе Плеханова наш приятель, художник Райский, правивший автомобилем, ехал медленно. Это давало возможность Плеханову внешне знакомиться с Москвой, он ее не знал. Москва не очень ему понравилась.

— Ваша "белокаменная" на самом деле грязнокаменная и несказистая. Европы в ней мало. Вот мы едем и я все ожидаю, что откуда-нибудь из переулка появится бородатый Хомяков, в мурмолке Аксаков или какой-нибудь тип Островского. Это к ней идет.

Когда мы проезжали по Страстной площади с памятником Пушкина, около него стояли толпы солдат, слушали какого-то оратора и лущили семечки.

— Вот картина, — воскликнул Плеханов, — от которой во время войны следует с омерзением отвернуться.

В то время я хорошо знал "старую Москву", особенно здания конца XVIII столетия и начала XIX, появившиеся в ней после уничтожившего почти весь город пожара 1812 г. Постоянно был "гидом" у всех наших гостей, впервые знакомившихся с Москвой. Всю дорогу я был гидом и для Плеханова. Мы ехали на Воробьевы горы большой компанией на нескольких автомобилях. В машине, которой правил Райский, сзади сидел Плеханов и рядом с ним я. Напротив нас два "товарища" из группы "Единство": один из них Абрамов, фамилию другого забыл. Когда мы приближались к Нескучному Саду, (ныне "Парк отдыха и культуры") Абрамов ни с того ни с сего затянул разговор о присущих мне "ересях", в частности указал, что считает вредной мою склонность заменять диалектический материализм эмпириокритицизмом Авенариуса и Маха. В присутствии Плеханова, против которого именно по этому вопросу я полемизировал в книге "Философские построения марксизма" (1908) я считал такой разговор совершенно неуместным. Напоминанием об этой полемике омрачать хорошее настроение Плеханова совсем не хотел. Желая заставить Абрамова замолчать, я толкал его ногой, делал ему различные знаки, Абрамов — человек весьма дубоватый — этого не понимал. Плеханов о моих ересьях тоже явно не хотел говорить и сурово смотрел на Абрамова. Перебивая его, он обратился ко мне: "Что такое эти два величественных и видимо старинных здания, мимо которых мы просезжаем?" Я ответил, что это две больницы. Одну из них в конце XVIII века построил наш знаменитый архитектор Казаков, а другую позднее, около 1830 г., воздвиг знаменитый архитектор Бове, построивший Большой театр, после пожара в 1853 г. заново отстроенный архитектором Кавосом. К величайшей досаде Плеханова и меня Абрамов, не понимавший, что разговор о моих ересьях нужно прекратить, продолжал что-то говорить об этом. Тогда Плеханов, обрывая его, бросил ему следующую фразу:

— Вы, товарищ Абрамов, напрасно игнорируете очень умные советы одного очень большого библейского философа. Имя ему — Экклезиаст. Он учил, что всему есть время, в частности время говорить и время молчать. Да и говорить тоже нужно во-время. Так, например, нас сейчас больше

интересуют постройки Казакова, Бове и Кавоса, а совсем не то, что вы говорите.

Когда мы приехали в Нескучный сад, Плеханов немедленно отвел в сторону Абрамова и с большим пылом стал ему что-то говорить. Абрамов ничего об этом мне не сказал, но по его сильно смущенному виду можно было понять, что ему от Плеханова здорово попало.

15 августа 1954 г.